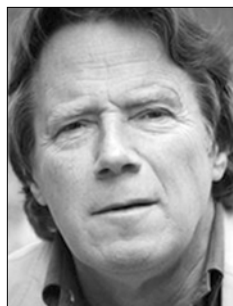


✦ Вопросы теории и методологии



КРИС ЛОРЕНЦ

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ: В ЗАЩИТУ «ВНУТРЕННЕГО РЕАЛИЗМА»*

Аннотация: В статье рассматривается одна из ключевых теоретико-познавательных проблем — проблема соотношения знания и действительности — в ее экспликации применительно к специфике исторического познания. Автор обосновывает концепцию «внутреннего реализма» для исторической науки и демонстрирует, каким образом эта концепция помогает преодолеть ограниченность подходов объективизма и релятивизма в интерпретации исторического знания.

Вводится понятие «практический интерес истории», что позволяет рационально объяснить нормативное измерение истории и по-новому подойти к рассмотрению проблемы соотношения фактов и ценностей. Основные положения своей концепции автор иллюстрирует и обосновывает на материале так называемого *Historikerstreit* — известного спора немецких историков о характере и методах исторического исследования событий Второй мировой войны.

Abstract: The paper presents an investigation into the key epistemological problem — the relationship between knowledge and reality — in its explication within the specificity of historical knowledge. The author substantiates the conception of “internal realism” for historical science and demonstrates how this conception may be applied for overcoming the restrictions of objectivism and relativism in the interpretation of historical knowledge.

A notion of the “practical interest of history” is introduced, which allows one to explain rationally the normative dimension of history and to see a new perspective in elucidating the

Лоренц Крис (Кристоф Фредерик Гийсберт) — доктор философии, профессор философии истории и историографии Амстердамского свободного университета (Нидерланды). E-mail: cfg.lorenz@let.vu.nl.

* Перевод выполнен по изданию Lorenz, Chris. “Historical Knowledge and Historical Reality: A Plea for ‘Internal Realism’” // *History and Theory: Contemporary Readings*. ed. B. Fay, P. Pomper, R. Vann. Oxford, 1998. P. 342–376. По просьбе автора мы сверили наш перевод с более поздним немецким изданием этой статьи: *Historisches Wissen und historische Wirklichkeit: Für einen rinnernen Realismus*, in: Jens Schruter / Antje Eddelbittel (Hgs.), *Konstruktion von Wirklichkeit. Beitrge aus geschichtstheoretischer, philosophischer und theologischer Perspektive*, Berlin/New York 2004, 65–106. Все существенные различия между первоначальным английским оригиналом и немецким переизданием статьи (обозначаемым далее как *Historisches Wissen*) указаны в особых примечаниях от переводчиков и в квадратных скобках в самом тексте.

relationship between facts and values. The author illustrates and justifies his conception by considering the so called Historikerstreit – a widely-known discussion among the German historians about the ways of historical investigation of the Second World War.

Ключевые слова: историческое знание, историческая действительность, факт, ценность, практический интерес истории, истина, нормативное измерение истории, объективизм, релятивизм, внутренний реализм.

Key words: historical knowledge, historical reality, fact, value, practical interest of history, truth, normative dimension of history, objectivism, relativism, internal realism.

3. Внутренний реализм и интерпретация споров между историками

Чтобы показать плодотворность «внутреннего реализма» для философии истории я разьясню некоторые аспекты *Historikerstreit* с точки зрения этого подхода, которые невозможно разьяснить с помощью объективизма или релятивизма. Отправной точкой «внутреннего реализма» является идея, что все наше знание о действительности опосредовано языком; а значит, действительность для нас – это всегда действительность в рамках определенного описания. Так, например, о «Третьем Рейхе» мы знаем не прямым и непосредственным образом, но лишь через описания историков, которые основываются на определенных ключевых понятиях. Некоторые историки «Третьего Рейха» используют понятийный каркас *Führerdiktatur* (см. прим. 1) – немецкое государство описывается тогда как уникальная единоличная диктатура; другие используют понятийный каркас теорий фашизма или тоталитаризма – нацистское государство описывается тогда как одна из форм фашизма или как некая разновидность тоталитарной диктатуры (см. прим. 2). *Mutatis mutandis* (см. прим. 3) то же самое верно и по отношению к природе, ибо наши знания о ней опосредованы описаниями физиков. Описания воплощают *точки зрения* или *подходы*, основываясь на которых мы наблюдаем действительность.

Как таковые, подходы принадлежат описательной схеме, а не самой действительности. Это замечание не опровергается тем фактом, что в социально–исторической действительности мы *также* сталкиваемся с подходами на объектном уровне, как это явно иллюстрируют статьи Хилльгрубера в ходе *Historikerstreit*. Таким образом, историки в буквальном смысле слова разрабатывают, так сказать, подходы к подходам (см. прим. 4). Этот факт, тем не менее, объясняет, почему выбор подхода в социально–исторических науках порождает проблему «пристрастности», что также можно видеть на примере Хилльгрубера (смотри ниже).

Поэтому, когда мы говорим о фактах и действительности, мы *всегда* имеем в виду *действительность в рамках определенной описательной схемы* (вот почему мы называем эту точку зрения *внутренним реализмом*). Это объясняет, как возможно то, что относительно одного и того же предмета – например, национал-социализма – разные историки *устойчиво* ссылаются на разные состояния дел как на факты и *устойчиво* ссылаются на разные утверждения как на истинные, а значит, как возможно то, что в исторической науке отсутствует гарантия консенсуса. Этот факт объясняется тем обстоятельством, что фактуальные высказывания и их истинность меняются в зависимости от их описательных схем. Таким образом, становится понятной возможность множественных и даже несовместимых истинных высказываний об «одном и том же» предмете; историки, которых такое положение вещей сбивает с толку, могут теперь быть спасены от эпистемологической путаницы и безысходности (см. прим. 5) Мож-

но воспользоваться примером Нельсона Гудмена: он обратил внимание на тот факт, что утверждение «Солнце всегда движется» и утверждение «Солнце никогда не движется» являются оба истинными в зависимости от точки зрения (см. прим. 6).

В том же духе, утверждение «Аушвиц был единственным в своем роде историческим явлением» и утверждение «Аушвиц не был единственным в своем роде историческим явлением» также оба могут быть истинными в зависимости от (аспектов) сравниваемых явлений. [Впрочем, это не означает, что значение самой истины является «относительным», ведь истина всегда будет пониматься как корреспонденция между утверждениями и действительностью. Это означает лишь то, что значение утверждений, которые могут быть истинными, а значит и их корреспонденция «релятивизированы» относительно описательных схем.] Поэтому сам по себе факт, что истина в науке не является единообразной и неделимой, не должен беспокоить историков или подталкивать их к скептическим и релятивистским выводам относительно научного статуса истории. Разумеется, это не влечет за собой какое-либо утверждение о *конкретных* претензиях на истину, поскольку объясняет лишь *возможность* различных утверждений об одном и том же объекте. Обоснованность каждой отдельной претензии на истину в исторической науке должна оцениваться не философами истории, а самими историками (см. прим. 7).

Поскольку все утверждения о фактах зависят от описательных схем, то утверждение, что то или это является фактом, может лишь означать, что рассматриваемое описание является адекватным. Таким образом, будучи рассмотренным более пристально, фактуальное высказывание является ни чем иным, как *претензией на истину*. Это так, поскольку понятия «истина» и «факт» концептуально взаимозависимы (см. прим. 8); поэтому ссылаясь на факты, историки ссылаются на истину. И поскольку они обосновывают свои претензии на адекватность «интерпретаций» апеллируя к фактам — что они *на самом деле* и делают, как это видно даже на примере такой квазипостмодернистской дискуссии, как *Historikerstreit*, — проблема истины не может быть снята с повестки дня философии истории (см. прим. 9). Однако фактуальные утверждения никогда не могут быть «доказаны» или «обоснованы» посредством действительности, но мы можем только приводить доводы в их пользу. Именно по этой причине вопрос о том, что собой представляет «действительность» или о том, каковы «факты», всегда останется спорным. При ближайшем рассмотрении, произнесение фактуальных утверждений всегда означает представление определенной описательной схемы и определенного подхода к действительности. Вернемся теперь к *Historikerstreit* и посмотрим, к каким еще идеям можно прийти, руководствуясь данной философской точкой зрения.

Как Нольте, так и Хильгрюбер настаивали на том, что их подходы к Третьему Рейху — то есть их описательные схемы — соответствуют «истинной природе» национал-социализма. Нольте обосновывал свой подход, обращаясь к европейскому, если не к всемирному, характеру истории двадцатого столетия, тогда как Хильгрюбер отстаивал свой «Вермахт-подход», обращаясь к самому Восточному фронту (или, по крайней мере, к этому фронту с немецкой стороны). С точки зрения «внутреннего реализма», легко понять, почему Нольте и Хильгрюбер не убедили своих критиков. Если осознать, что образ «действительности» всегда зависит от описательной схемы — а значит, от подхода, — то не будет неожиданностью, что действительность нельзя использовать как аргумент в пользу какого-то подхода, или даже для обоснования

его «необходимости». Это предполагает прямое соответствие между действительностью и определенным языковым каркасом — предпосылка, связанная с наивным реализмом, но отвергнутая в эпистемологии вместе с эмпиризмом. Скорее, все наоборот: историк пытается установить, что собой представляла прошлая «действительность», приводя доводы в пользу своего подхода. Таким образом, именно историк, а не прошлое, «диктует» историю.

Это не означает, что прошлое «в действительности» не существует или что отдельные историки свободны «диктовать» любую картину прошлого, какую они только захотят, как это, по-видимому, предлагают некоторые постмодернистские мыслители. Вдохновленные литературной теорией, нарративисты типа Уайта и Анкерсмита заходят слишком далеко на этом пути, подчеркивая [тотальную] автономию исторического текста по отношению к прошлому. Их позиция, тем не менее, не может объяснить, как возможно то, что историки часто отбраковывают тексты как исторически неадекватные [разве что они просто—напросто делают ложные утверждения]. Такой *факт* из исторической практики можно понять, только если допустить наличие референциального отношения между текстами историков и действительным прошлым — ибо без этой взаимосвязи понятие адекватности не имеет смысла — а значит, если не поддаваться искушению предоставить историческим текстам статус, независимый от прошлого, которое они предположительно описывают. Всякий, кто при написании истории руководствуется лозунгом Дерриды — “*il n’y a pas de hors-texte*” (см. прим. 10), теряет интерес для историка именно как историка (см. прим. 11).

Разрыв референциального отношения между нарративом историка и прошлым как таковым обосновывают исчезновением связи между историческим нарративом и его фактуальной основой. Уайт, к примеру, недавно утверждал, что такие события, как убийство Джона Ф. Кеннеди, взрыв Челленджера или Холокост (*bien étonnés de se trouver ensemble* (см. прим. 12)), следует считать парадигмальными случаями (современных) исторических событий (см. прим. 13). По Уайту, этот тип событий отличается именно то, что связанные с ними фактуальные утверждения не могут быть обоснованы, и что дальнейшее исследование не *уменьшает*, но *увеличивает* неясность по поводу того, «что же произошло на самом деле».

Уайт называет это «испарением действительности» или «дереализацией» события, из чего, в частности, следует: «Кажется невозможным рассказать единственно верную авторитетную историю о том, что произошло на самом деле — что означает, что об этом можно рассказать любое число различных историй» (см. прим. 14). В результате, Уайт — по хорошо известной схеме «либо-либо», — заключает, что когда Бог «единственно верного авторитетного рассказа» истории умирает, историков охватывает хаос и произвол: «любое число различных историй» о прошлом можно очевидно рассказать без *какой—либо* оглядки на свидетельства [и источники]. Итак, «недоопределенность» исторического нарратива со стороны свидетельств [и источников] получает у Уайта самое радикальное истолкование. «Испарение» границы между фактом и вымыслом, а также между историей и литературой является логическим результатом этой примечательной [скептической] линии рассуждения (см. прим. 15).

В работах Анкерсмита мы сталкиваемся со сходной аргументацией. Как и Уайт, он пытается разорвать взаимосвязь между историческими нарративами и их фактуальной основой. По его мнению, такое отделение исторического нарратива от свидетельств лучше всего иллюстрирует так называемая «постмодернистская» или «но-

вая» историография: «Для модерниста свидетельство является плитой, которую он поднимает, чтобы посмотреть, что под ней лежит; для постмодерниста же — это плита, по которой он ступает, чтобы перейти к другим плитам: по горизонтали, а не по вертикали» (см. прим. 16). «Для новой историографии текст должен занимать центральное положение — это больше не пленка, *сквозь* которую мы смотрим (либо на прошлую действительность, либо на авторские намерения историка), но нечто, *на* что должен смотреть историограф» (см. прим. 17).

Как и Уайта, Анкерсмита, по-видимому, также не беспокоит тот факт, что большинство историков остаются приверженцами «вертикального взгляда» на историческое свидетельство и не перенимают их «постулат о не—прозрачности исторического текста» в его радикальной формулировке. И историки поступают так совершенно обоснованно, потому что если они примут эту философскую позицию всерьез, то будет совершенно непонятно, зачем им вообще выходить из кабинета для осуществления исторического *исследования*. «Недоопределенность» исторических нарративов со стороны свидетельств никоим образом не оправдывает разрыв между ними. «Отсутствие прозрачности» говорит лишь о том, что историки не могут непосредственно апеллировать к действительности, чтобы подкрепить свои нарративы, и потому должны *приводить доводы* в пользу своей реконструкции прошлой действительности — точно так же, как это верно и для палеонтолога или геолога. В этом процессе аргументации фактуальное свидетельство играет решающую роль.

Но все же есть существенное различие между историей, с одной стороны, и палеонтологией и геологией — с другой, поскольку предметом истории выступает *человеческое* прошлое (см. прим. 18). Так как люди проявляют интерес к тому, как их прошлое представлено в историях (ведь именно так образуется индивидуальная и коллективная идентичность), они стремятся давать оценку задействованным при этом подходам. В результате истории могут быть *истинными*, но *неприемлемыми*, ибо они входят в столкновение с представлением об идентичности той аудитории, для которой они предназначены. Этот практический «интерес» истории, подвергнутый анализу Юргеном Хабермасом, Эмилом Ангерном, Йорном Рюзеном и Гердой Нагл—Доцекал, отсутствует в науках, предметом которых не является человек (см. прим. 19). Поскольку Патнем разрабатывает свою концепцию «внутреннего реализма» только по отношению к естественным наукам, мы должны соединить эту идею практического интереса истории с «внутренним реализмом» для того, чтобы сделать философию истории «реалистичной». В сочетании с языковым анализом, эта версия «внутреннего реализма» способна вывести исследование проблемы ценностей за пределы объективизма и релятивизма, что я и надеюсь сейчас продемонстрировать.

4. «Внутренний реализм», проблема ценностей и Historikerstreit

Прежде чем определить [понятийные] рамки своего анализа, я вначале прокомментирую саму проблему. Проблема ценностей традиционно интерпретируется в духе Макса Вебера и его «постулата этической нейтральности» (*Wertfreiheit*), хотя в данном контексте многие историки предпочитают цитировать известное положение Ранке касательно задач, которые стоят перед историками (см. прим. 20). Под этим постулатом Вебер подразумевал методологическое правило для ученых (как ученых) не высказывать в ходе исследования никаких оценочных суждений, относящихся к исследуемому предмету, и ограничиваться в науке утверждениями о фактах. Вместе

с объективизмом и релятивизмом Вебер был убежден в «абсолютной разнородности» утверждений о фактах и утверждений о ценностях; поэтому наука, как сфера фактов, должна быть строго отграничена от сферы ценностей, то есть этики, эстетики и политики (см. прим. 21). Проблема ценностей была, таким образом, рассмотрена Вебером на уровне единичных экзистенциальных утверждений и единичных оценочных суждений, а не на уровне описательных схем или понятийных каркасов, то есть уровне исторического нарратива *в целом*. Как следствие, наиболее важная проблема ценностей в историографии, связанная с выбором подхода, выходит за рамки традиционной системы анализа, как я это продемонстрирую на примере *Historikerstreit*.

Нормативные аспекты, связанные с выбором подхода, наиболее важны в историографии, потому что историки спорят о них больше всего (см. прим. 22). Это, конечно, не означает, что вообще не существует «проблемы ценностей» на уровне отдельных утверждений — она, безусловно, существует — но только, что этот уровень *относительно* неважен. Как и в области эпистемологии, в области нормативного анализа необходимы «холистический» и «лингвистический поворот», и именно по той же самой причине: подобно описательным утверждениям в исторических нарративах, нормативные утверждения не существуют по одиночке, а появляются одно за другим, поскольку они взаимосвязаны на концептуальном уровне (см. прим. 23). Как описательные утверждения опираются на теории наблюдения, так и нормативные утверждения всегда опираются на теории морали (которые, вполне очевидно, выступают в роли базового знания) (см. прим. 24).

Когда мы анализируем *Historikerstreit* с этой точки зрения, то первый факт, который следует отметить, — это то, что Нольте и Хильгрюбер упорно стараются избегать дискуссии по поводу проблемы ценностей, ссылаясь на Веберовский «постулат этической нейтральности». Они отрицают какую-либо взаимосвязь между подходами, воплощенными в их объяснительных схемах, и приписыванием моральной ответственности одной стороне; они тем самым подчеркивают фундаментальную пропасть между научной историей и политикой или этикой. Данная линия аргументации представляется довольно слабой, если помнить основной предмет спора: в конечном итоге *Historikerstreit* развернулся вокруг места Федеральной Республики Германии в немецкой истории — то есть исторической идентичности *Bundesrepublik* (см. прим. 25) — а это является в той же мере политической проблемой, как и научной. Вопреки этому фундаментальному факту Нольте и Хильгрюбер постоянно напоминают о той непреодолимой пропасти, которая отделяет их чисто научные исследования от политики. Возникает впечатление, что в их объективистские рамки невозможно встроить идею практического интереса.

В этой связи Хильгрюбер категорически отрицает, что его выбор в пользу «Вермахт-подхода» скрывает в себе нормативный выбор. Он представляет этот выбор как продиктованный непосредственно исторической действительностью. Согласно ему, историк Восточного фронта сталкивается со следующими альтернативами: принять решение писать историю с позиции Гитлера, или с позиции русских, или с позиции узников концентрационных лагерей, или с позиции немецкого гражданского населения и защищающей его немецкой армии. По Хильгрюберу, первые три подхода не отвечают действительности, поскольку население Германии не отождествляло себя ни с одной из этих сторон. Поэтому остается подход с позиции немецкой

армии как единственно «реалистическая» точка зрения для историка (см. прим. 26).

Выявить нормативные мотивы, прячущиеся за псевдофактуальной аргументацией Хилльгрубера, не составляет большого труда, поскольку его попытки снять с немецкой армии и гражданского населения ответственность за нацистские преступления выглядят довольно неуклюже. Его формулировка *фактической* исторической проблемы, очевидно, прямо взаимосвязана с проводимым в его описательной схеме разграничением между (1) Гитлером, с одной стороны, и немецкой армией и гражданским населением — с другой, и (2) немецкой армией и гражданским населением, с одной стороны, и узниками концентрационных лагерей — с другой. Последние — главным образом евреи, цыгане, коммунисты и социалисты — очевидно, не являются для Хилльгрубера «настоящими» немцами, поскольку они не считались таковыми ни большинством тогдашнего немецкого населения — это несомненный исторический факт — ни (современным) немецким историком 1980–х гг. — это его нормативный выбор.

Фактуальное описание Третьего Рейха этим историком сводится в таком случае просто к некритической проекции «Вермахт–подхода» на действительность, включая его *нормативное* определение «настоящих» немцев и «настоящей» Германии (см. прим. 27). Эта примечательная точка зрения происходит из очевидного отождествления Хилльгрубером (немецкого) прошлого с тем, что якобы было непосредственно «наблюдаемым», то есть, с (немецкими) источниками — хорошо известная ошибка эмпириков, что не осталось незамеченным в ходе дискуссии.

Разграничение, на описательном уровне, Гитлера и немецкой армии дает возможность Хилльгруберу характеризовать борьбу на Восточном фронте как «трагедию». Эта характеристика несет скрытую нормативную нагрузку, поскольку трагедия предполагает, что *обе* стороны конфликта могут оправдывать свои действия путем апелляции к этическим принципам; более того, противостояние этих принципов является столь же объяснимым, сколь и неизбежным.

Таким образом, роль *Wehrmacht'a* в продолжающейся «войне Гитлера», даже после того, как зимой 1942–1943 гг. стало очевидным, что она уже проиграна, легитимизируется Хилльгрубером через сорок пять лет после данных событий. Он последователен, когда характеризует тех немецких военных, кто поднял восстание против Гитлера в июле 1944 г., как «безответственных» и «нереалистичных» (см. прим. 28). Как ни удивительно, для Хилльгрубера, тем самым, историческая действительность июля 1944 г. является точно такой же, как ее интерпретировало (и оценивало) поддержавшее Гитлера большинство *Wehrmacht'a*, при этом исключаются все другие точки зрения — такие как точка зрения вооруженного сопротивления, узников лагерей или русских.

В отличие от Хилльгрубера, нормативные мотивы Нольте больше замаскированы квази-фактуальной внешней формой его описательной схемы. Наиболее важным в данном аспекте является его «фактуальное» утверждение, что историография «Третьего Рейха» вплоть до нынешнего времени была основана на «приписывании коллективной вины»; поэтому эта историография характеризуется как «моралистическая» и «фактически неадекватная» и настоятельно нуждается в «научном пересмотре».

Нольте отбрасывает любое «приписывание коллективной вины», поскольку эта схема аргументации берет начало от нацистов. Несмотря на ее нарочито «инновационный» и «научный» характер, собственная аргументация Нольте в этом пункте страдает серьезной противоречивостью, которая бросается в глаза: он постоянно крити-

кует своих оппонентов за то, что они осуждают его аргументы под предлогом их (реакционной) политической природы, вместо того чтобы судить об их фактической адекватности. Согласно Нольте, в его случае это привело к серьезному нарушению этики науки. По крайней мере, именно это он выдвигал как довод в пользу использования радикальных реакционных агитационных материалов в качестве исторических источников (игнорируемых другими историками) для того чтобы задокументировать нацистский «страх перед большевизмом» (см. прим. 29). Вопрос исторической вины Германии и ответственности за Аушвиц — единственная центральная проблема, с точки зрения подходов его критиков — перестает, таким образом, существовать в качестве фактической проблемы для истории и отклоняется как «моралистический» (см. прим. 30).

Разграничение между наукой как сферой фактов и политикой как областью ценностей может, таким образом, вызвать серьезные осложнения и расхождения в исторических дискуссиях, как это явно демонстрирует *Historikerstreit*. Эта прямая связь между фактуальными и нормативными суждениями коренится в практическом интересе истории, даже когда это эксплицитно отрицается — как это имеет место с Нольте и Хильгрюбером. Оба историка осуществили попытку вернуть немцам приемлемое прошлое путем построения менее болезненной исторической идентичности, релятивизируя немецкую ответственность за катастрофы, вызванные немцами в период между 1939 и 1945 гг. Эта прямая взаимосвязь между историей и идентичностью может объяснить, почему бесполезно пытаться изгнать этическую дискуссию с территории историков и почему «проблема этического нейтралитета» историка является столь же давней, как и сама историография (см. прим. 31). До тех пор и в той мере, пока сообщества людей будут выводить свою идентичность из истории, написание истории сохраняет этот практический и нормативный характер (см. прим. 32). Поэтому нормативные взгляды историков лучше обсуждать открыто, как это ясно показывает *Historikerstreit*, тем более, если принять во внимание, что в многочисленных исторических дискуссиях явные, противоположные фактуальные суждения оказываются укорененными в неявных, противоположных нормативных суждениях.

Таким образом можно усилить рациональность исторических дискуссий. Этот довод эксплицитно формулируется израильскими участниками этой дискуссии — например, такими, как Саул Фридлэндер и Дэн Динер. Они, в частности, утверждают, что история Третьего Рейха не должна писаться с точки зрения его немецких современников — как предлагал Хильгрюбер, — поскольку это предусматривало бы повторение в историографии их морального безразличия к его жертвам. Насилие, используемое нацистами для того, чтобы заставить замолчать своих жертв, было бы, таким образом, воспроизведено историком (см. прим. 33). Аналогичное явное обращение к задействованным нормативным принципам можно найти в работах Хабермаса; согласно ему, группа Нольте-Хильгрюбера признает немецкую нацию высшей ценностью, в то время как их критики отдают первенство демократии. Это нормативное первенство демократии составляет основу их критической позиции по отношению к антидемократическим традициям в немецком национальном прошлом (см. прим. 34).

В рамках «внутреннего реализма» — в его усовершенствованной форме — с этой причиной затруднений можно открыто разобраться и ее можно объяснить в три этапа. Первый шаг иллюстрирует относительность «пропасти» между областями фактов и ценностей. Второй шаг выявляет разнообразие функций языка на основе об-

шей лингвистики. Третий и последний шаг вводит понятие «горизонт ожидания» в качестве связующего звена между фактуальным и нормативным дискурсом.

Что касается первого шага, то все аргументы тут мы уже сформулировали. Ведь идея «абсолютной разнородности» фактов и ценностей и призыв к «свободной от ценностей» науке истории, в конечном счете, основываются на предпосылке, что фактуальные суждения, в отличие от ценностных суждений, могут быть основаны на действительности и сопутствующей предпосылке, что язык в науке выполняет исключительно репрезентативную функцию. Поэтому факты и ценности якобы отделены друг от друга непреодолимой пропастью, при этом дискуссии по поводу фактов могут быть разрешены рациональными способами, а споры по поводу ценностных суждений являются по сути иррациональными. Все это выводится из «фундационных» <foundational> представлений. То же самое имеет место и в случае изображения дискуссий о фактах как таких, что ведут к консенсусу, а споров о ценностях как противоположных своим фактуальным аналогам. Возможность обоснования утверждений рассматривалась поэтому в качестве конечного основания рациональности. Эти предпосылки разделялись как объективистами, так и релятивистами (см. прим. 35).

С точки зрения «внутреннего реализма», для этих дихотомий нет никаких «фундационных» причин. Поскольку мы признаем, что фактуальные утверждения также не могут основываться на действительности, но мы можем лишь приводить аргументы в их пользу, то исчезают любые *априорные* «философские гарантии» — столь желанные даже в недавнем прошлом — что аргументация заставит любую рациональную аудиторию, на которую она направлена, прийти к рациональному согласию. После отказа от этой предпосылки «непреодолимая пропасть» между фактуальным и нормативным дискурсами перестает быть законченным решением, а становится проблемой, которую можно открыто обсудить (см. прим. 36). В то же время становится понятным тот очевидный факт, что в историческом дискурсе очень сложно отделить фактуальные споры от нормативных — что вполне очевидно в *Historikerstreit*, и в современной немецкой истории в целом (см. прим. 37).

Таким образом, вне объективизма и релятивизма больше не существует самоочевидной «фундационной» пропасти между фактами и ценностями; поэтому данная пропасть не может использоваться в качестве довода для вывода нормативных измерений историографии за рамки дискуссии. Если бы историки обратили внимание на «внутренний реализм» в философии истории, соблазн выдать нормативные суждения за фактуальные утверждения — как это имеет место в произведениях Нольте и Хилльгрубера — мог бы даже исчезнуть. Это значит, что якобы «более серьезный» (фундационный) характер последних оказывается иллюзорным, потому что *оба* вида утверждений требуют обоснования посредством аргументации. Критикам Нольте и Хилльгрубера, видимо, известен данный факт, поскольку они открыто используют нормативные аргументы против своих оппонентов. Например, они утверждают, что подход с немецкой национальной точки зрения неприемлем, учитывая катастрофические исторические последствия немецкого национализма для других наций Европы. На этом основании предложение Хилльгрубера переписать историю Восточного фронта отклоняется. Другой пример — отклонение ими «научных» попыток нападение тех, которые были предприняты Нольте и Хилльгрубером, отрицать ответственность Германии за Аушвиц посредством квази-фактуальной «европеизации» немецких массовых убийств в современной истории (см. прим. 38).

Философия истории, таким образом, способна пролить свет на связи между неявными философскими предпосылками историков — как например разграничения фактов и ценностей в этом споре — и теми способами, которыми они пытаются определить границы легитимной научной дискуссии. При этом она может способствовать расширению этих границ и соответственно повышению уровня рациональности (см. прим. 39).

Второй аргумент в пользу выведения анализа проблемы ценностей за рамки объективизма и релятивизма можно почерпнуть из современной лингвистики. Вместе с «внутренним реализмом» — предложенным мною выше — она может пролить новый свет на нормативные аспекты историографии.

Существенным для этой аргументации является признание того, что язык функционирует не только в качестве средства репрезентации действительности, но также и в качестве прагматического средства коммуникации, [и таким образом, выполняет перформативную функцию] (см. прим. 40). Все языковые высказывания могут также быть проанализированы в качестве «речевых актов», как показали Остин и Серль: любое использование языка — это форма социального взаимодействия. [Парадигмальными примерами являются предложения типа «Я приказываю тебе...» или «Я обещаю тебе...». Эти предложения не являются репрезентациями или представлениями состояний дел, но сами образуют действие приказания и обещания. Произнося эти предложения, говорящий отдает приказы и дает обещания. То же самое верно и в отношении таких перформативных актов, как объявление войны, заключение мира, выборы, заключение договоров, женитьба и т.п. — все, что Серль называет «институциональными фактами» (см. прим. 41).] Соответственно использование языка является не только предметом синтаксического и семантического анализа, но также и лингвистической прагматики. Любое социальное взаимодействие осуществляется в контексте, который предполагает говорящего — того, кто осуществляет «речевой акт» — и слушателя.

В истории говорящими являются историки, их тексты представляют собой совокупность речевых актов, а слушатели — это та аудитория, к которой они обращаются. Главные функции речевых актов состоят в обеспечении контактов и взаимоотношений, предоставление информации, выражение эмоций, оценивание, принятие обязательств и выполнение эстетической роли. Традиционно философы истории почти полностью были заняты информационной функцией исторического языка, потому что повестка дня критической философии истории диктовалась аналитической философией науки с ее упором на формальные структуры научных объяснений. Хотя после заката аналитической философии науки в 1960–х гг. философия истории также открыла заново оценочное и эстетическое измерения исторического дискурса, анализ нормативных функций языка историка остался несколько рудиментарным (см. прим. 42).

Отсутствие внимания к этим аспектам коренится в объективизме и релятивизме, ведь они оба предполагают, что нормативная функция языка исключает репрезентативную функцию как следствие якобы «непреодолимой пропасти» между суждениями о фактах и суждениями о ценностях. Нормативное измерение исторического дискурса поэтому обычно определялось в историческом дискурсе как «проблема этического нейтралитета». Решение этой проблемы предполагалось найти, главным образом, на основе принципов эмпиризма, то есть «освободив разум» от всех

факторов, мешающих получению истинного знания. Это сводится к устранению всех Бэконовских идиологов, то есть всех идеологических — оценочных — влияний. Хотя большинство историков сомневается в том, может ли этот процесс быть завершённым, это считается практической, а не фундаментальной проблемой. Нормативные функции языка историка, таким образом, представляются в качестве угрозы для репрезентативной функции.

Это «подавление» нормативной функции языка коренится в эмпиризме с его четким разграничением фактов и ценностей и его фундаментальной парадигмой научного знания. Как это ни парадоксально, но эмпиризм даже сбивает с истинного пути те направления в философии истории, которые эксплицитно ставят своей задачей «преодоление» эмпиризма — вроде той разновидности нарративизма, которую развивает Хайден Уайт — потому что обозначение всех форм историографии как «идеологических» является в данном отношении простым обращением эмпиризма (см. прим. 43). Та версия «внутреннего реализма», которую я отстаиваю, способна избежать бесплодной дилеммы «наука против идеологии», поскольку она признает, что язык историка может *одновременно* выполнять как репрезентативную, так и нормативную функции (и именно, это имеет место при образовании какой-то идентичности) (см. прим. 44). Благодаря своему «холистическому» характеру, «внутренний реализм» без каких-либо проблем признает, что *одно и то же* утверждение может *одновременно* выполнять *различные* функции (см. прим. 45). Утверждения, которые кажутся описательными, например, «Фон Штауфенберг был настоящим немецким офицером», «Адольф Гитлер был австрийским полуевреем» или «Битва на Восточном фронте была трагедией» также могут быть интерпретированы как нормативные утверждения (см. прим. 46). [Задействованные здесь метафоры выражают как когнитивные, так и нормативные взгляды — что подчеркивается и представителями современного дискурса-анализа, например, Ф. Сарасином (см. прим. 47).]

Поэтому «фундаментальное различие» между суждениями о фактах и суждениями о ценностях нельзя больше считать чем-то само собой разумеющимся и больше нельзя использовать в качестве аргумента для ограничения рамок исторической дискуссии. [Так, во многих национальных историях встречаются метафоры «земли обетованной», «нереализованной нации» или другие представления особого «национального определения», которые могут и должны рассматриваться как речевые акты обещания — речь совершенно очевидно идет о некотором нормативном акте, который выдает себя за описание фактов, ибо обещание влечет за собой моральное обязательство его выполнения (см. прим. 48).] «Ценностная нагруженность» и «по самой своей сути спорный характер» социально-исторических понятий (см. прим. 49) — те аспекты историографии, которые чаще отмечались, нежели анализировались — можно таким образом объяснить, избегая Сциллы «свободного от ценностей» объективизма и Харибды «идеологического» релятивизма.

Третий и последний шаг в направлении вывода анализа проблемы ценностей в историографии за рамки объективизма и релятивизма состоит в том, чтобы ввести при анализе исторического спора понятие «горизонт ожидания» (Erwartungshorizont) (см. прим. 50). Данное понятие позволяет объяснить, как различные нормативные концепции связаны с различными описаниями исторической действительности, потому что оно может функционировать в качестве моста между «основными предположениями» (см. прим. 51) историков и их аудиторией. Эти основные предполо-

жения, имеющие свои источники в [разнообразных] социальных онтологиях, [«стилях мышления» или «протоидеях»], являются частью политических идеологий; поэтому уместно говорить о «либеральной», «консервативной» и «марксистской» традициях в историографии и связывать историографические споры с политико-идеологической борьбой «мировоззрений» (см. прим. 52). [В этом отношении Хейден Уайт был прав в своей *Метаистории*.]

Чтобы объяснить «горизонт ожидания» и установить оказываемое им воздействие, мы сначала должны ближе познакомиться с теми способами, посредством которых историки обосновывают свои претензии на знание. Процесс обоснования историками своих утверждений традиционно разделяется на фазу фактуального исследования и фазу интерпретации и объяснения. Факты обычно оцениваются на основе логически обоснованных аргументов, с учетом относительной меры их подкрепленности источниками; интерпретативные и объяснительные утверждения, как правило, оцениваются на основе сравнительных аргументов, исходя из интерпретативного и объяснительного потенциала ключевых понятий (см. прим. 53). Основная стратегия на этой фазе — устранение альтернативных аргументов (см. прим. 54).

Как это парадигмальным образом можно видеть на примере споров типа *Historikerstreit*, аргументы на обеих фазах не являются автоматически «рационально очевидными» и не приводят автоматически к согласию (см. прим. 55). Никакой призыв к «единственно верному историческому методу» не может скрыть этот факт (см. прим. 56). Понятие «горизонт ожидания» позволяет объяснить один аспект такого отсутствия консенсуса — а значит, и наличие плюрализма — в историографии, поскольку оно позволяет осознать, что историки реконструируют прошлое не в вакууме, но имеют в виду определенную аудиторию; поэтому большое количество точек зрения в историографии можно также объяснить, исходя из потребительской стороны историографии — профессиональной и непрофессиональной.

Таким образом, хотя все «научные» историки связаны «правилом действительности», они *в то же самое время* связаны тем, что может быть обозначено как «правило аудитории» (см. прим. 57). Это последнее правило может помочь нам объяснить, каким образом историками используется «нарративное пространство»: это помогает объяснить, какие из всевозможных истинных историй также и *признаются* таковыми. Это вовсе не тривиально, ведь историки, так же как и представители естественных наук, стремятся не к истине *самой по себе*, и не к *полной* истине, а лишь к *релевантной* истине (см. прим. 58). Поскольку первичные источники непосредственно не «диктуют» способ реконструкции прошлого, они всегда предлагают нарративное пространство для нескольких объяснительных описаний (это остается рациональным зерном *Метаистории* Уайта). Какие из этих описаний являются *априорно* правдоподобными, это изменяется не только вместе с изменением познавательных ожиданий, но также и вместе с изменением нормативных ожиданий аудитории, к которой обращается историк. Последняя особенность хорошо отражена в истории историографии, особенно в «горячих» спорах подобных *Historikerstreit*, «полемике вокруг Фишера», [или «полемике вокруг Гольдхагена»] (см. прим. 59).

Познавательные ожидания устанавливают предел для того *многа* факторов, которые могут быть представлены как причинные факторы — как, например, отдельные умонастроения (как у Нольте) в противовес над-индивидуальным, коллектив-

ным факторам (как у Моммзена) (см. прим. 60). Нормативные ожидания ограничивают конкретный выбор факторов — например, отдельных людей и сообществ — которые могут быть избраны в качестве причинных факторов. Этот нормативный выбор, как показал Дрей, непосредственно связан с приписыванием ответственности и вины (см. прим. 61). Конкретный пример этого представляет национальная принадлежность «героев и негодяев» в национальных историях (даже когда эти национальные истории маскируются под сравнительные, международные истории). Поэтому вовсе не случайно, что консервативная группа Нольте—Хилльгрубера считает советского диктатора Сталина в конечном счете ответственным за преступления своего немецкого «близнеца» в политике, Адольфа Гитлера. Этот ход мыслей — включая идею, что в 1941 г. Гитлер начал войну на Востоке только чтобы упредить войну Сталина, запланированную на 1942 г., — уже глубоко укоренился в консервативных кругах в Федеративной Республике Германии (см. прим. 62).

Точно также не случайно то, что их критики категорически отвергали этот историографический «экспорт» немецкой исторической ответственности, поскольку в либеральных и левых кругах Федеральной Республики было широко распространено убеждение в том, что немцам необходимо «исправить» их нацистское прошлое (*Aufarbeitung der Vergangenheit*). Историки учитывают эти «горизонты ожидания» потому что они значительно разнятся и в некоторой степени определяют восприятие исторических исследований. Иллюстрацией этого факта является то, что два лагеря в *Historikerstreit* публиковали свои работы в изданиях, значительно отличающихся по своей политической окраске, и таким образом, обращенных к весьма различным аудиториям. Главная особенность *Historikerstreit*, в сравнении с другими историческими спорами, состояла только в том, что эти горизонты ожиданий были намного более очевидными, чем обычно.

5. Заключение

В данном очерке я утверждал, что задача философии истории — прояснить практику истории; поэтому философия истории должна анализировать результаты работы историков и их споры — включая принимаемые ими предпосылки. Она должна прояснить тот факт, что историки осуществляют реконструкцию прошлой действительности на основе фактуального исследования и обсуждают адекватность этих реконструкций; в то же время она должна прояснить тот факт, что эти дискуссии редко приводят к консенсусу и что, таким образом, наиболее существенной характеристикой истории как дисциплины является плюрализм.

Анализ *Historikerstreit* показывает, что традиционный объективизм и релятивизм не могут объяснить, почему историки постоянно спорят между собой; этот анализ также показывает, что нечеткое различие между суждениями о фактах и суждениями о ценностях оказывает сильное влияние на эти споры, потому что суждения о ценностях считаются выходящими за рамки рациональной дискуссии. Это различие восходит к устаревшим предпосылкам по поводу рациональности науки, разделяемому объективизмом и релятивизмом. Внутренний реализм выходит за рамки объективизма и релятивизма в историографии, хотя для того, чтобы перенести «внутренний реализм» из области философии естественных наук — где он был сформулирован Хилари Патнемом — в историю, было введено понятие практического интереса истории. С помощью данного понятия и предполагаемого им понятия иден-

тичности можно выявить нормативные корни плюрализма в историографии. Во-вторых, анализ различия между фактами и ценностями обнаруживает эти корни в объективизме и релятивизме; поэтому его нужно подвергнуть новому анализу с точки зрения «внутреннего реализма».

Данный анализ, осуществленный на примере *Historikerstreit*, демонстрирует относительность такого различия и неудовлетворительный характер попыток прояснить нормативные измерения истории: аргументы в пользу устранения нормативной дискуссии из легитимного научного спора являются необоснованными и устаревшими. В-третьих, чтобы дать более адекватное объяснение нормативных аспектов историографии, с «внутренним реализмом» можно связать теорию «речевых актов» и понятие «горизонт ожидания». В-четвертых, историки могут получить пользу от «внутреннего реализма», поскольку рамки их дискуссий были бы расширены за счет включения традиционно скрытых нормативных вопросов, которые в них вовлекаются. Таким образом, хотя философы истории используют произведения и споры историков в качестве отправной точки и первичного материала для анализа, философия истории вовсе не занимается простым воспроизведением взглядов историков на их профессию.

Эта интерпретация задач философии, на мой взгляд, необходима для того, чтобы сохранить связь между философией истории и историей, а также, чтобы предотвратить вырождение философского анализа в «формалистические опухоли, которые постоянно растут, питаясь собственными соками» (см. прим. 63). «Внутренний реализм» в его расширенной форме предлагает как историкам, так и философам истории «реалистический» путь выхода за пределы объективизма и релятивизма, избегая при этом ошибок нарративизма, который выбираясь из трясины позитивизма, попадает в зыбучие пески постмодернизма (см. прим. 64). Сами историки утверждают, что отображают прошлое и таким образом подчиняются «правилу действительности»; поэтому сам по себе факт, что мы познаем прошлое только через описательные схемы, не приводит к заключению, что прошлое *является* описанием или может считаться таковым (см. прим. 65).

Пер. О.П. Панафидиной и Е.В. Мишаловой, науч. ред. Я.В. Шрамко

Примечания

1. Диктатура фюрера (нем.).
2. Ср.: I. Kershaw, *The Nazi Dictatorship: Problems of Perspectives and Interpretation*, London 1989, 1–42.
3. С соответствующими поправками; с учетом соответствующих различий; с необходимыми изменениями (лат.).
4. [Исследователи науки ввели в этой связи понятия «понятие второго порядка» (Альфред Шютц) и «двойная герменевтика» (Энтони Гидденс), чтобы учесть структурированный посредством символов предмет гуманитарных наук. Общую аргументацию этого см. в: Habermas, *Zur Logik der Sozialwissenschaften*, 5. erw. Aufl., Frankfurt a.M. 1982.]

Панафидина Оксана Петровна – кандидат философских наук, доцент кафедры философии Криворожского государственного педагогического университета (Украина, Кривой Рог). E-mail: oxanapanafidina@rambler.ru;
Мишалова Елена Витальевна – кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры всемирной истории Криворожского государственного педагогического университета (Украина, Кривой Рог). E-mail: elen-mishalova@rambler.ru;

Шрамко Ярослав Владиславович – доктор философских наук, профессор, ректор Криворожского государственного педагогического университета (Украина, Кривой Рог). E-mail: yshramko@ukrpost.ua.

5. В качестве примера может служить голландский историк Л. де Йонг – см. его «Zelfkritiek», *Bijdragen en Mededelingen tot de Geschiedenis der Nederlanden* 105 (1990), 2, 179, 182–183, или американский историк Уильям МакНил – см. его *Mythistory* (примечание 21).

6. Goodman, *Ways of Worldmaking*, 2–3.

7. Согласно большинству комментариев, Нольте и Хильгрубера следует рассматривать как проигравших в “Historikerstreit”: D. Peukert, *Wer gewann den Historikerstreit? Keine Bilanz*, in P. Glotz et al. (eds.) *Vernunft riskieren: Klaus Dohanyi zum 60. Geburtstag* Hamburg, 1988, 38–50; I. Kershaw, *Neue deutsche Unruhe? Der Ausland und der Streit um die deutsche Nationalund Zeitgeschichte*, in *Landeszentrale für politische Bildung NRW* (ed.) *Streitfall Deutsche Geschichte*, Düsseldorf 1988, 111–131.

8. Hamlyn, *Theory of Knowledge*, 135–42, особенно 135: «В самом деле, если подумать о том, каковы могли бы быть общие необходимые и достаточные условия истинности для любого утверждения, то, по-видимому, единственное, что могло бы выступать в этой роли – это то, что утверждение должно соответствовать факту».

9. Ср.: Zammito, *Are We Being Theoretical Yet?*, 812: «Достоверность и когерентность совершенно необходимы для занятий историей, но научные стандарты являются дисциплинарными, а не абстрактными».

10. Вне текста ничего нет (фр.).

11. [Ср.: Ginzburg, *History, rhetoric and proof*, 1: «Раскол между методологическим рассмотрением и реальной историографической практикой редко бывал столь резко выражен, как в последние несколько десятилетий».]

12. Весьма удивлены оказаться вместе (фр.).

13. H. White, [The Modernist Event]. О развитии взглядов Уайта и противоречиях у него см.: Kansteiner, *Hayden White's Critique*.

14. White, [The Modernist Event], 66: «Но растворение события как основной единицы, которая происходит во времени, и как основного структурного элемента истории подрывает само понятие фактуальности и тем самым ставит под угрозу разделение между реалистическим и всего лишь воображаемым дискурсом. Растворение события подрывает основополагающую предпосылку западного реализма: противоположность между фактом и вымыслом»].

15. *Ibid.*, 23. Эта линия рассуждения тем более примечательна, что она является противоречивой. Отрицая достоверность знания о (недавнем) прошлом – например, об убийстве Дж. Кеннеди и Холокосте – Уайт в то же время предлагает развернутую характеристику именно этого (недавнего) прошлого: разрушая понятие факта, он пытается убедить читателя в некотором факте, а именно, утверждаемом им «факте модернизма». Один пирог два раза не съешь.

16. F.R. Ankersmit, *Historiography and Postmodernism*, *History and Theory* 28 (1989), 137–153. Довольно примечательно, что Анкерсмит представляет работу Гинзбурга *Der Kdse und die W̄rmer: die Welt eines Myllers um 1600*, Frankfurt a.M. 1979 в качестве наилучшего примера постмодернистской историографии, тогда как сам Гинзбург откровенно враждебно настроен к такой интерпретации. См. его *Checking the Evidence* и *History, Rhetoric and Proof*, 1–38.

17. F.R. Ankersmit, *The Reality Effect in the Writing of History: The Dynamics of Historiographical Topology*, Amsterdam 1989, 8. Парадоксально, что Анкерсмит в последнее время отошел от «отслеживания текстов» и предложил анализ «исторического опыта» – независимо от его лингвистического выражения. См. его *De historische ervaring*, Groningen 1993. Теперь, когда Уайт философствует об историческом событии, а Анкерсмит об историческом опыте, возникает вопрос, куда еще заведет нас нарративизм.

18. Хотя понятие истории является онтологически нейтральным – так как, наряду с историей человечества есть, например, история Земли и история вымерших видов животных – в контексте данной статьи я ограничиваю это понятие человеческой историей.

19. E. Angehrn, *Geschichte und Identität*, Berlin 1985; J. Rüsen, *Historische Vernunft: Grundzüge einer Historik I: Die Grundlagen der Geschichtswissenschaft*, Göttingen 1983; H. Nagl–Docekal, *Die Objektivität der Geschichtswissenschaft*, München, 1982; J. Habermas, *Geschichtsbewusstsein und post-traditionelle Identität*, in *Eine Art Schadensabwicklung*, Frankfurt 1987, 159–80. Краткое изложение теории Хабермаса см.: Bohman, *New Philosophy of Social Science, passim*; краткое изложение теории Рюзена см.: A. Megill, *Jörn Rüsen's Theory of Historiography between Modernism and Rhetoric of Inquiry*, *History and Theory* 33 (1994), 39–61.

20. Ссылки см.: R. Vierhaus, “Rankes Begriff der historischen Objektivität,” in R. Koselleck u.a. *Objektivität und Parteilichkeit*, München, 1977, 63–77.

21. Эта проблема не может быть рассмотрена здесь во всех ее аспектах; дополнительное изложение см.: W. Schluchter, *Wertfreiheit und Verantwortungsethik*, Tübingen 1971.

22. Современный анализ этой давней проблемы см.: J. Scott, *History in Crisis? The Other Side in History*, *American Historical Review* 94 (1989), 680–692, а также A. Megill, *Fragmentation and the Future of Historiography*, in *American Historical Review* 96 (1991), 693–698.

23. «Холистический» и «практический» аспекты историографии подчеркивает также Аллан Мегилл, *Recounting the Past: Description, Explanation and Narrative in Historiography*, *American Historical Review* 94 (1989), 3, 627–654, в частности 647: «В конце концов, историк интерпретирует прошлое, то есть, с необходимостью представляет прошлое с точки зрения какого-то подхода. Этот подход пронизывает все, что пишет историк». Он также подчеркивает нормативный аспект, связанный с выбором подхода: «Учитывая, что историческое произведение необходимо пишется исходя из какого-то подхода, оно всегда связано с нашим осмыслением исторической действительности сейчас — даже если внешне пытаются отрицать, что такая взаимосвязь существует. В той мере, в которой эта заинтересованность в современном осмыслении доминирует, историк становится не просто историком, но также и социальным или интеллектуальным критиком» (647). Тот же самый момент был отмечен Т. Эшплентом и А. Вилсоном в *Presentcentred History and the Problem of Historical Knowledge*, *Historical Journal* 31 (1988), 2, 253–274.

24. Ср.: A. MacIntyre, *After Virtue*, Notre Dame, Ind. 1984 и B. Rundle, *Facts*, London 1993, 82–83: «Проблема коренится не в том, что есть пропасть между фактом и ценностью; скорее, затруднения распределяются между фактическим и концептуальным: часто практически невозможно примирить противоположные интересы...». Подходящую формулировку взаимосвязи между теорией и наблюдением см.: Goodman, *Ways of Worldmaking*, 97: «Факты представляют собой небольшие теории, а истинные теории — это большие факты».

25. Федеративная республика (нем.).

26. Hillgruber, *Zweierlei Untergang*, 20–25.

27. Поскольку именно *Wehrmacht* на практике служил инструментом нацистской Германии, физически уничтожая ее противников, позиция Хильгрубера означает полное безразличие к ее жертвам.

28. Hillgruber, *Zweierlei Untergang*, 20–21.

29. Nolte, *Vergehen der Vergangenheit*, 25, 137. Нольте, тем не менее, превратно истолковывает своих критиков. Они не возражают против того, чтобы использовать пропаганду правых политических взглядов с целью документирования умонастроений нацистов — в данном случае их страха перед большевизмом — но против некритического отождествления со стороны Нольте этой пропаганды с исторической действительностью и возведения этой предполагаемой действительности в ранг *главной* причины нацистских массовых убийств. Разгромную критику использования Нольте такого рода источников см. в: Wehler, *Entsorgung der deutschen Vergangenheit?*, 147–154 и Evans, *Hitler's Shadow*, 84–85.

30. Нольте, таким образом, игнорирует тот фундаментальный факт, что когда историк описывает действия индивида или коллектива как *его* или *их* действия, он или она, тем самым, *приписывает* моральную ответственность и конструирует идентичность. Эта идентичность формируется не только преднамеренными действиями, но также и непреднамеренными последствиями действий. Тот способ, каким реконструируются намерения, и тот способ, каким приписываются непреднамеренные последствия, зависят как от описательных, так и от нормативных соображений; поэтому идентичность одновременно является как фактуальным, так и нормативным понятием. Об этой важной характеристике историографии см.: Angehrn, *Geschichte und Identität*, особенно 60–62.

31. Ср.: Kelley, *Versions of History*, 5–7.

32. Как показали Рюзен и Анджерн, это происходит из-за того, что понятие идентичности одновременно является нормативным и фактуальным; см. также: Lorenz, *De constructie*, 255–262. Энн Ригни также подчеркивала переплетение «фактуального» и нормативного дискурсов при написании истории: A. Rigney, *The Rhetoric of Historical Representation: Three Narrative Histories of the French Revolution*, Cambridge 1990 и ее рецензию на работу Лионела Госсмана *Between History and Literature* в *History and Theory* 31 (1992), 208–222.

33. Как это изложено в статьях Динера и Фридлэндера в сборнике D. Diner (Hg.) *Ist der Nationalsozialismus Geschichte? Zur Historisierung und Historikerstreit*, Frankfurt, 1987. Ср. дискуссию Фридлэндера с Мартином Брошлатом: M. Broszat and S. Friedländer, *Um die 'Historisierung des Nationalsozialismus.'* Eine Briefwechsel, *Vierteljahrshefte zur Zeitgeschichte* 36 (1988), 339–373.

34. Habermas, «Geschichtsbewusstsein und post-traditionelle Identität», 159–180.

35. Rorty, *Mirror of Nature*, 341–342, 363–364; Putnam, *Reason, Truth and History*, 143; Goodman, *Ways of Worldmaking*, 139–140. [Bernstein, *Beyond objectivism and relativism*, 8: «Объективизм тесно взаимосвязан с функционализмом и поисками Архимедова рычага. Объективист считает, что если мы не сможем строгим образом обосновать философию, знание или язык, мы не сможем избежать радикального скептицизма».]

36. [Ср. R. Rorty, *Der Spiegel der Natur. Eine Kritik der Philosophie*, Frankfurt a.M. 1991: «Использование таких почетных титулов как “объективный” или “когнитивный” больше не выражает согласие исследователей друг с другом (или надежду на такое согласие)». (365) Рорти формулирует тезис, что упрек в «субъективизме» демонстрирует страх перед тем, «что в действительности больше нет ничего промежуточного между вопросами вкуса и вопросами, которые можно разрешить при помощи заранее сформулированных алго-

ритмов» (366). Н. Putnam, *Vernunft, Wahrheit und Geschichte*, Frankfurt a.M. 1982: «В настоящее время мы склоняемся к тому, чтобы быть слишком реалистичными [=объективистскими, С.Л.] по отношению к физике, и слишком субъективистскими по отношению к этике, и обе эти тенденции являются взаимосвязанными. [...] Движение в сторону того, чтобы быть менее реалистичным по отношению к физике и менее субъективистским по отношению к этике, точно так же являются взаимосвязанными» (193). N. Goodman, *Weisen der Welterzeugung*, Frankfurt a.M. 1990: «Фундаментальные споры, которые бушуют почти в каждой науке, от психологии до астрофизики, являются насмешкой над столь превозносимым требованием согласия между учеными» (169). Гудмен констатирует, «что граница между художественными и научными суждениями не стирается вместе с границей между субъективным и объективным, и что любое приближение к всеобщему согласию по поводу чего-то существенного является исключением» (170). См. Далее Bundle, *Facts and Values*, in *Facts*, 55–85; D. Pels, *De 'natuurlijke saamhorigheid' van feiten en waarden*, in Pels and De Vries, *Feiten en waarden*, 14–44; M. Doeser, *Can the Dichotomy of Facts and Values Be Maintained?*, in Doeser et al. (eds), *Facts and Values*, 1–19; J. Mooij, *Feiten en waarden*, in *De wereld der waarden*, Amsterdam, 1987, 28–45; A. MacIntyre, *After Virtue*, 1–36.]

37. [Sabrow, Jessen u. Große Kracht (Hg.), *Zeitgeschichte als Streitgeschichte*.]

38. [В своей книге *Das Vergehen der Vergangenheit*, 41, Нольте эксплицитно отрицает за немцами возможность говорить о «немецкой вине»: «Все обвинения против „немцев“, которые исходят от немцев, являются неискренними, поскольку обвинитель не включает себя, или же группу, к которой он принадлежит, в число обвиняемых, и в принципе, хочет лишь нанести решающий удар старым врагам». Этот вид коллективного обвинения является якобы «чистым обращением обвинения „евреев“ со стороны Гитлера» (139). Чарльз Мейер в книге *Unmasterable Past*, 83–84, подверг справедливой критике аргументативную стратегию Нольте как ряд псевдо-сопоставлений, а именно «тезисов сформулированных в виде псевдо-вопросов». Псевдо-вопрос «спрашивает не об истинности высказывания, а о том, может ли высказывание быть сделано. Оно делает вид, что проверяет некоторую гипотезу, но на самом деле, проверяет границы приемлемого дискурса и вполне предвидит свой эффект, ведь либеральные общества не любят ограничивать дискурс». Последнее замечание Мейера можно использовать в качестве дополнительного аргумента в пользу моего призыва подвергать в историческом дискурсе анализу также и нормативные проблемы.]

39. Это также является целью программы Рюзена; ср. его *Historische Vernunft*.

40. S. Dik and J. Kooij, *Algemene Taalwetenschap*, Utrecht 1991, 20–39. [J. Searle, *Die Konstruktion gesellschaftlicher Wirklichkeit*, Reinbek 1997, 69–88.]

41. [J. Searle, *Die Konstruktion gesellschaftlicher Wirklichkeit*, Reinbek 1997, 41–68.]

42. Краткое описание заката аналитической философии науки см. у Salmon, *Four Decades of Scientific Explanation*. Краткое описание заката аналитической философии истории см. у F.R. Ankersmit, *De navel van de geschiedenis: Over interpretatie, representatie en historische realiteit*, Groningen 1990, 23–43.

43. [Ср. мою статью: *Kann Geschichte wahr sein? Zu den narrativen Geschichtsphilosophien von Hayden White und Frank Ankersmit*, in: Jens Schröter/Antje Eddebbüttel (eds.), *Konstruktion von Wirklichkeit. Beiträge aus geschichtstheoretischer, philosophischer und theologischer Perspektive*, Berlin/New York 2004, 33–63.]

44. Rösen, *Historische Vernunft*, 78: «Идентичность, которая становится предметом обсуждения в процессе рассказывания историй, не является неизменным фактом. Кто мы есть, зависит и от того, кем нам позволяют быть другие и кем мы сами хотим быть по отношению к другим». [Ср. также Rorty, *Der Spiegel der Natur*, 394, который приводит доводы в пользу того, что различие между фактуальными утверждениями и оценочными суждениями предполагает, что «когда все факты известны», не остается ничего, кроме «некогнитивного» принятия некоторого отношения – выбор, который невозможно рационально обсуждать. Это скрывает то обстоятельство, что использование некоторой системы истинных предложений для само-описания уже означает выбор отношения к самому себе, и что выбор другой системы истинных предложений означает принятие противоположного отношения.»]

45. Mooij, “Feiten en waarden,” 28–44.

46. Ср.: Bundle, *Facts*, 66–67.

47. [Ф. Сарасин в своей книге *Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse*, Frankfurt a.M. 2003, в частности, на стр. 91–231, отстаивает тезис, что использование бактериологических метафор в дискурсе о нациях и обществах – разговоры об организмах, в которые проникают чужеродные и вредные паразиты и которые, для обеспечения своего выживания, ведут оборонительные войны против этих вторжений, – облегчили геноцидные практики XX столетия: «В 20–м столетии политический дискурс был в буквальном смысле ,отравлен' метафорами, эксплуатирующими тему ,инфицированного организма' – то есть, метафорами загрязнения ,народного организма' или же ,почвы' всевозможными микробами, паразитами и тому подобным. Такие языковые формы по меньшей мере способствовали определению рода действиям – и не следует забывать, что люди, которые таким образом объявлялись ,вредителями', умирали затем в Аушвице в

„дезинфекционных камерах» (194). Таким образом метафорическое описание меньшинств, таких как евреи и цыгане, было связано с нормативным призывом избавиться от них.

Примечательно, что разумное отстаивание Сарасином дискурс–анализа сопровождается непониманием им таких критиков ‘лингвистического поворота’ в истории, как Георг Иггерс, Ричард Эванс и Роже Шартье. Сарасин также отождествляет наивный реализм с реализмом вообще и истину как корреспонденцию с взаимно–однозначным соответствием между утверждениями и действительностью, когда он пишет, что дискурс–анализ, в отличие от ‘реалистической’ историографии, «больше не может пребывать в уверенности, что его утверждения находятся в принудительном и тем самым единственно истинном отношении соответствия с ‘фактами» (9). Ср. также его критику Маслоу на стр. 57.]

48. [Перформативный характер исторических текстов рассмотрел Квентин Скиннер в своей книге *Visions of Politics, Vol. I: Regarding Method*, Cambridge 2002.]

49. W. Gallie, *Essentially Contested Concepts*, in *Proceedings of the Aristotelian Society 1955–1956*, London 1957, 167–198, [в особенности, 193: «Признание того, что данное понятие существенным образом является спорным, влечет признание противоположного его использование (отвергающего самого себя), не только в качестве всего лишь логически возможного и по–человечески ‘понятного’, но в качестве постоянной критической оценки своего собственного использования или собственной интерпретации рассматриваемого понятия. ... Одним из вполне желательных следствий признания этой существенной спорности могло бы быть поэтому ожидание того, что она может служить некоторым признаком того, что аргументы в дискуссии между оппонировавшими друг другу сторонами выходят на более высокий уровень. И это означало бы *prima facie* оправдание продолжающегося соперничества между различными сторонами, соревнующимися за поддержку и признание своей позиции».]

50. Дальнейший анализ данного понятия см.: M. Thompson, *Reception Theory and the Interpretation of Historical Meaning*, in *History and Theory* 32 (1993), 248–273.

51. См.: A. Gouldner, *The Coming Crisis of Western Sociology*, London 1970, 30–31.

52. [О социальных онтологиях см.: S. James, *The Content of Social Explanation*, Cambridge 1984. Привлекаются, например, различные понятия социальной причинности. О «стилях мышления» и «протоидеях» (Людви́к Флек) ср.: Sarasin, *Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse*, 196–199.]

53. На этом этапе полезно различать проблемно–ориентированный тип истории (*histoire probleme*), которая пытается найти объяснения конкретным и ясно изложенным гипотезам, и интерпретативный тип истории, которая пытается преподнести всеобъемлющие и наглядные интерпретации (*histoire total*). Базовая стратегия первого типа заключается в устранении конкурирующих объяснений, в основе второго типа – демонстрация, что определенные понятия способны объединять разрозненные факты в осмысленное целое. В крайне уже заполненных нишах историографии, как правило, действуют через устранение оппонентов. Об использовании историками свидетельств и источников см.: P. Kosso, *Historical Evidence and Epistemic Justification: Thucydides as a Case Study*, *History and Theory* 32 (1993), 1–14.

54. Ср. Martin, *The Past Within Us*, 30–85.

55. Несмотря на то, что фактические доводы оцениваются другими историками на основе критерия непротиворечивости – непротиворечивости с информацией, полученной из источников и ими подтвержденной – этот критерий сам по себе не гарантирует консенсуса. Это отсутствие консенсуса имеет две причины на уровне источников: не только возможность для разных историков исследовать “один и тот же” объект – например, Третий Рейх или Холокост – используя разные источники, но также и возможность для разных историков интерпретировать одни и те же с источниками по–разному – как это имело место в случае Нольге и его интерпретации реакционной пропаганды.

56. Анализ и историю развития концепции «исторического метода» см.: C. Meier u. J. Rüsen (Hg.), *Historische Methode*, München 1988, в частности, статьи Й. Рюзена, Е. Топольски и Й. Мерана.

57. [Роль аудитории, конечно же, анализировалась уже в классической риторике. В этом отношении и «научная» история должна подчиняться риторике.]

58. Ср. Goodman, *Ways of Worldmaking*, 18.

59. О «полюемике вокруг Фишера» см.: A. Sywottek, *Die Fischer–Kontroverse: Ein Beitrag zur Entwicklung des politisch–historischen Bewusstseins in der Bundesrepublik*, in I. Geiss and B.J. Wendt (ed.) *Deutschland in der Weltpolitik des 19. und 20. Jahrhunderts*, Düsseldorf 1974, 19–46. [Sabrow, Jessen und Große Kracht (Hg.), *Zeitgeschichte als Streitgeschichte*. О полемике вокруг Гольдхагена см. мой анализ в *Model murderers. Afterthoughts on the Goldhagen method and history*, *Rethinking History* 6, 2 (2002), 131–151.]

60. Конечно, описательный и объяснительный уровни концептуально переплетены, но все же целесообразно разграничивать их аналитически, поскольку ответ на вопрос «что» не обуславливает ответ на вопрос «почему»; ср.: R. Martin, *On Dray’s ‘Conflicting Interpretations’*, G. Shapiro et al. (ed.) *Hermeneutics: Questions and Prospects*, Amherst, 1984, 262: «Характеристика события, которое подлежит объяснению, определяет уровень

и устанавливает ограничения относительно того, что будет считаться объяснением». О философских доводах ср.: James, *Social Explanation*, passim; об исторических доводах см., например, дискуссию о роли Гитлера в истории Германии: M. Broszat, *Nach Hitler: Der schwierige Umgang mit unserer Geschichte*, München 1988, в частности 11–33, 119–131 и 227–234; H. Mommsen, *Der Nationalsozialismus und die deutsche Gesellschaft*, Hamburg 1991, особенно 67–102 и 184–233. Касательно дискуссии о роли личности в истории см.: С. Lorenz et al., *Het historisch atelier: Controversen over causaliteit en contingentie in de geschiedenis*, Amsterdam / Meppel 1990.

61. W.H. Dray, *Philosophy of History*, Englewood Cliffs, NJ, 1964, 21–41. Дополнительные ссылки и об-суждение см. L. Pompa, *Value and History*, in van der Dussen and Rubinoff (eds), *Objectivity*, 112–132.

62. Ср. Evans, *Hitler's Shadow*, 138: «То, как люди относятся к Третьему Рейху и его злодеяниям, дает ключ к пониманию того, как они могли бы использовать политическую власть в настоящем и будущем. Вот почему неоконсервативная реинтерпретация немецкого прошлого является такой тревожной. Ибо многие, если не большинство, доказательств извлекаются, осознанно или неосознанно, исходя из самой нацистской пропаганды»; Maier, *Unmasterable Past*, 64: «Позиция Нольте—Феста предоставила научный статус тому, что до этого представляло собой маргинальный дискурс *Soldatenzeitung* или ассоциаций бывших эсэсовцев». Недавний обзор см.: A. Lüdtke, 'Coming to Terms with the Past': Illusions of Remembering, Ways of Forgetting Nazism in West Germany, *Journal of Modern History* 65 (1993), 542–572, [и мою статью *Bordercrossings*].

63. Фейерабенд использует эту фразу для характеристики развития философии науки; см.: P. Feyerabend, *Philosophy of Science: A Subject with a Great Past*, in R. Stuewer (ed.) *Minnesota Studies in the Philosophy of Science*, Minneapolis 1970, V, 183.

64. [Этот аргумент я развил в своей статье *Kann Geschichte wahr sein? Zu den narrativen Geschichtsphilosophien von Hayden White und Frank Ankersmit*, in: Jens Schröter/Antje Eddelbüttel (eds.), *Konstruktion von Wirklichkeit. Beiträge aus geschichtstheoretischer, philosophischer und theologischer Perspektive*, Berlin/New York 2004, 33–63.]

65. Сравните критику «пан-текстуализма» со стороны Заммито и «внутритекстовый нарциссизм» «новой» философии истории с ее полным растворением референциальности исторических нарративов в «Are We Being Theoretical Yet?» [и сходную критику Загорина в его работе „Narrative, history, and the referent“.]



М. БОАТКА

ДОГОНЯЯ (НОВЫЙ) ЗАПАД. НЕМЕЦКАЯ «ИНИЦИАТИВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ», РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВО НЕРАВЕНСТВА»*

Аннотация: В контексте Болонского процесса неоллиберальной европейской университетской реформы германские власти недавно выступили в поддержку «инициативы совершенствования», которая выдвинула в качестве одной из ключевых целей развитие

Боатка Мануэла — доктор философских наук, профессор социологии Института латиноамериканских исследований Свободного Университета Берлина (Германия). E-mail: mboatca@zedat.fu-berlin.de.

* Первый вариант статьи был опубликован в журнале *Human Architecture: Journal of the Sociology of Self-Knowledge*. IX, 2011. P. 17-30. Статья была переработана специально для нашего журнала. Публикуется с письменного разрешения автора. Перевод М.В. Глостановой.